

Л.А. Седов: «Я родился в 1934 в Москве, на Арбате»

Сейчас — конец июля 2018 года, но так случилось, что лишь недавно я узнал о том, что несколько месяцев назад не стало Леонида Александровича Седова (1934-2018). Закрылась еще одна дверь в прошлое. Прошлое — очень содержательное, наполненное знаками времени, в котором жил Седов, и встречами с людьми, во многом определявшими культуру своего времени. И нашего...

Мое интервью по электронной почте с Седовым состоялось 13 октября — 15 декабря 2015 года. Когда на мой очередной вопрос он не ответил, я написал ему: «Леонид, у Вас все в порядке?» и получил ответ: «Немного простужен или вирус, но не критично. Могу продолжить сотрудничество. Посмотрели замечательный фильм «Страна Оз» (режиссер Сигарев)? Очень советую». Но работу мы не продолжили.

Писал Леонид с трудом, короткими предложениями. Да и с электронной почтой он не очень дружил. Но сейчас я собрал все написанное им, читается с интересом... Посмотрел я в веб-сети разные беседы с Седовым, их — немало, и решил опубликовать сделанное. В нем много того, о чем в других материалах о нем нет. И не будет...

В заголовок текста вынесены слова написанные Седовым. Мне кажется, что в жизни Леонида Александровича очень многое было определено именно местом его рождения...

Как не вспомнить окуджавское: «Ах, Арбат мой Арбат ты моё отечество...»

Я благодарю Александра Гофмана за присланные воспоминания о Л.А. Седове.

Борис Докторов

— Я спрашивал Ж.Т. Тощенко об истории его имени Жан, Б.Г. Тукмуцева — о происхождении его имени и отчества — Будимир Гвидонович, оказалось, что и история его фамилии не проста. А.Г. Здравомыслов вспоминал, как появилась его фамилия, а А.Ф. Филиппов — имя его отца, Фридрих. Не знаете ли Вы историю Вашей фамилии — Седов? Хотя фамилия нередкая... И вообще, насколько глубоко Вам известна история Вашей семьи?

— Не знаю, зачем это Вам, но постараюсь отчитаться о своих корнях обстоятельным образом. Я — русский по отцу (Александр Павлович Седов, инженер-строитель, уроженец Ржева) и еврей по матери (Берта, Бася Мисевна Рубинчик, врач-педиатр, уроженка местечка Березино в Белоруссии).

Сначала о русской ветви. Родители отца принадлежали к двум влиятельным в Ржеве старообрядческим купеческим родам — Седовым и Долгополовым. Седовы владели скотобойней, а Долгополовы вели широкую торговлю, в том числе поставляли овес ко двору в Петербурге. Один из представителей этого рода, Онисим Долгополов, оказался причастным к Пугачевскому восстанию и был осужден на каторгу (отправлен в Ревель). Он значится в анналах и литературе как купец-авантюрист Долгополов.

Что касается фамилии Седов, то оказалось, что я не Седов по крови. Дело в том, что мой прадед, купец Василий Седов привез в Ржев из Москвы цыганку Кацеву, солистку хора в Яре. Он обвенчался с ней и усыновил двух приехавших с ней ее незаконнорожденных сыновей. Один из них — мой дед Павел Васильевич Седов.

— Леонид, я очень рад, что задал Вам такой вопрос, и благодарен за Ваш столь интересный ответ... поясню, почему я регулярно задаю такой или подобный вопрос. Во-первых, мое историко-социологическое исследование я давно рассматриваю и как собственно историческое исследование. Оно уже дало большую, ценную информацию о жизни разных слоев населения России, начиная, по крайней мере, с 18 века. Во-вторых, я придерживаюсь той точки зрения, что творчество социолога — биографично, и ищу эти проявления биографичности.

— Пожалуйста, теперь о еврейской ветви, скорее всего она оборвалась в годы войны... и как отразились Революция и Гражданская война на жизни Вашей семьи?

Мой еврейский дед учительствовал в местечке Березино и, в частности, вел драматический кружок, ставивший какие-то религиозные мистерии. У него в кружке участвовала в последние великая еврейская актриса, основательница театра Габи-

ма Ханна Ровина. Когда мой двоюродный брат Израиль Рубинчик, актер, обучавшийся у Михоэlsa, уехал в Израиль, Ханна помогала ему устроиться, памятуя о деде.

Что касается гражданской войны, то в ней в качестве медсестер (почти вся мамина родня — медики) на стороне красных участвовали старшие мамини сестры. Одна из них вспоминала, как раненые красноармейцы говорили, что слышали Троцкого и знают, за что умирают.

— Коснулись ли Ваших родителей репрессии конца 1930-х годов, что внесла в их жизнь война? Ведь Белоруссия была оккупирована, Ржев — тоже, и бои подо Ржевом — одна из ключевых точек военных действий 1941-1943 годов.

— В 30-е гг. страдал только старший брат мамы Исаак. Он учился в Швейцарии и был там как-то связан с меньшевиками. За это отсидел в обще сложности 17 лет. Во время войны он, врач-хирург, в звании полковника возглавлял госпиталь, а после все равно сел.

Семья другого брата, Аарона, была полностью уничтожена немцами в Гродно. Мама умерла в 1946 году в возрасте 44 лет. Отец на фронте не был, у него была бронь. Но в 1945 на него надели майорские погоны и отправили в Германию демонтировать и отправлять в Союз авиационные заводы.

— ...похоже, Ваша семья — эта та капля, по химическому составу которой можно говорить о химии Океана. Вы родились во Ржеве? Где были в годы войны?

— Я родился в 1934 в Москве, на Арбате. Во время войны эвакуировался с мамой, старшим братом и няней в Безмянку под Куйбышевом (Самара), где отец с 1934 г. работал на Особстрое НКВД (строительство авиационных заводов). В 1943 вернулись в Москву.

— Таким образом, в последние годы войны и в первые послевоенные годы Вы учились, в Москве... на Арбате? Чем Вам запомнилось то время, чем запомнилась школа?

— Вы спрашиваете о школьных годах, я — в большом затруднении. Это целая эпопея, для описания которой не хватит



ни слов, ни бумаги, ни слез. По приезде из эвакуации я поступил в школу № 59 в Староконовском пер., элитная школа, бывшая роскошная Медведниковская гимназия, с великолепной парадной лестницей, замечательными актовым и спортивным залами. Со временем была удостоена им. Гоголя. Ближайшими соседями напротив были посольство Канады и жилой дом работников ЦК КПСС.

Состав учеников был очень пестрым — дети из интеллигентских арбатских семей (врачей, юристов, инженеров — часто евреев), цеховские мальчишки, а также уголовная шпана из подвалов, которая не дотянула до окончания, рассредоточившись по ремеслухам, а то и по тюрьмам и лагерям. Такой вот был окружавший меня человеческий компот.

Я рано потерял мать и довольно скоро обрел мачеху. Был, прямо скажем, девиантным подростком, рано познакомился с курением и алкоголем. Учебу, правда, вытягивал на четверки, но вел себя ужасно, и в школе, и вне ее. В результате, скажу, опуская подробности, что, вступив в комсомол в восьмом классе, в девятом был исключен, с последующей заменой строгим выговором с занесением.

— Леонид, а если не переживать по поводу отсутствия бумаги, наше интервью идет по электронной почте, пожалуйста, расскажите немного о запомнившихся учителях и почему на Вас завели дело и чуть не исключили из комсомола.

— Учителя в школе были замечательные, но школа была с математическим и естественно-научным уклоном. Это мне давалось с трудом, но многому научило. А преуспевал я в гуманитарном цикле и даже мне поручалось делать политинформации (я читал газеты и слушал «голоса»). Особенно хорошие отношения сложились с молодой преподавательницей литературы Лицей Александровной Ханиной. Как-то она дала задание написать продолжение поэмы «Мороз Красный нос». Предполагалось — в прозе; я написал в стихах: «Наутро в деревне узнали, что Дарья из леса все нет, и в лес мужиков отослала искать запорошенный след. Печальное ржанье Савраски на след мужиков навело, на месте, где Дарья стояла, огромный сугроб наметло» и т.д. Она была в восторге... Много лет спустя сказала мне, что зачитывает его всем своим последующим ученикам, сохраняет пожелтевший рукописный листочек с выцветшими чернилами.

А историю с исключением вспоминать тошно. Устроили мне разборку на комитете комсомола по совокупности проступков. Я плохо вел себя на уроках. Мой табель был испещрен записями с просьбой родителям явиться в школу. Особенно усердствовала англичанка, которую я действительно изводил, и учитель психологии и конституции и заодно парторг. Еще я оказался причастным к разбитому окну на вечере в женской школе. Но самое главное, в одной из школ района было «раскрыто» нашумевшее тогда дело о кружке старшеклассников и студентов по изучению трудов Ленина. По «делу» нескольких юношей и девушек посадили, двоих расстреляли.

В учительских кругах воцарилась паника. Наша классная, математичка Фидели, в порыве бдительности сочинила версию, согласно которой я заслан в комсомол, чтобы разлагать его изнутри. Ну далее я еще легко отделался. Правда, переживал страшно, полагая, что не попаду в институт.

— Скорее всего, продолжение «Мороза Красного носа» не было первым Вашим поэтическим опытом. Я то время, о котором Вы пишете, знаю плохо, Вы занимались в каком-либо литературном кружке, объединении?

Кружков не было, но литература и поэзия очень привлекали. Стихи писал очень для меня тогда авторитетный старший брат Женя, а в школе — мой одноклассник и друг Игорь Можейко, в будущем известный писатель Кир Булычев, организовал рукописный литжурнал «Ковчег» и привлек к сотрудничеству в нем меня и других своих знакомых мальчиков и девочек.

— О каком характере продолжения учебы Вы думали?

— Поступить мечтал, просто жаждал — в МГИМО. Я с детства рос под большой картой мира, висевшей над кроватью отца, рано стал интересоваться атласами и читать газеты, а когда отец прислал из Германии приемник «Филлипп», стал слушать голоса и в том числе прямые трансляции заседаний Генассамблеи ООН, выступления Громыко. Сыграло роль и соседство канадского посольства: иногда можно было наблюдать, как на приеме съезжаются гости в роскошных лимузинах и нарядах. А замечательный директор школы Давид Натанович Розенбаум достал и показывал в школе диснеевские мультфильмы.

— В каком году Вы закончили школу? Скорее всего, в то время для поступления в МГИМО требовалась рекомендация райкома комсомола. Ваш выговор «с занесением» не осложнил реализацию Вашей мечты?

— Школу я закончил в 1952 г. Конечно, с выговором поступать в МГИМО было невозможно. Но к тому времени я написал множество слезных заявлений, и райком выговор снял. К тому же к нам в школу пришли агитаторы из Иняза, и мы с Можейко решили поступать на переводческий и пошли на подготовительное отделение. Туда тоже требовалась рекомендация райкома, и райком мне ее дал. За этим последовала еще одна любопытная история. Я был вызван в райком, где сидела какая-то тройка во главе с полковником, и мне было объявлено, что проводится сталинский набор в реактивную авиацию, а я подхожу по здоровью. Уговаривали, соблазняли. Я сопротивлялся наотрез: «Вы же мне только что дали рекомендацию на переводческий». Хлопнул дверью и услышал вслед: «Никуда ты не поступишь». Но обошлось. Поступил — связываться не стали. А может, зря не согласился? Стал бы Гагариным.

— На какое отделение Вы поступили? Как пошла учеба?

— Я поступил на английское отделение, учился хорошо, с интересом. Преподаватели были разные, в основном высококлассные специалисты каждый в своей сфере. Среди студенческого общения получилось так, что основную мою компанию составили «стиляги» с улицы Горького («Бродвея»), и состоялось широкое знакомство с ресторанной жизнью Москвы (стипендию получали повышенную).

— И вот пришел 1953 год, умер Сталин. Как это событие восприняли Вы, Ваша «стиляжная» компания? Были ли Вы на похоронах Сталина?

— Борис, ваш вопрос о Сталине убеждает меня в том, что мы погружаемся в такую бездонную бездну, из которой мне выбраться крайне трудно. В том, что касается моей жизни, то я вынужденно рисую ее скупыми штрихами, каждый из которых нуждается в углублении, в разворачивании в полотно, иначе возникают искажения и ложные следы и в отношении моей собственной жизни, и жизни страны. В частности, у Вас, кажется, сложилось неверное представление о том месте, которое занимала в моей жизни «стиляжья компания». На самом деле ее роль была заметной, но вполне маргинальной.

А главное дружеское общение протекало в кругу школьных друзей, а в нем моим ближайшим другом и духовным сподвижником был Петр Зоркий, впоследствии профессор-химик, а вообще человек крайне разносторонний, знаток литературы, поэзии, музыки. Он ввел меня в свою семью, где главой была Вера Яковлевна Васильева, ученая-востоковед, под началом которой мне впоследствии довелось работать, а ее дочь, известный киновед Нэя Зоркая, и сын Андрей, кинокритик, также стали моими влиятельными друзьями. Вообще, к Зоркому и его семье входят все важнейшие линии моей жизни.

Теперь о моем отношении к Сталину. Надо сказать, я был довольно просвещенным юношей. К моменту его смерти у меня уже сложилось о нем и о советской системе вполне отрицательное мнение. Я уже слышал о завещании Ленина; мне о нем рассказал лежавший со мной в одной палате в больнице в Тарусе врач, бывший экз. Была также семейная история: один знакомый жены моего брата, физик-атомщик, удостоился ауди-

енции у Сталина и потом писал: «Я видел, как слезла позолота идола, которому поклонялся всю жизнь. И все-таки он чертовски гениален».

Когда я рассказал это Зоркому, он сказал, что это вражеская выдумка. Вообще, в доме старой большевички Васильевой культ Сталина был вполне заметным. Я же к тому времени был вполне осведомленным о репрессиях и о прочем и даже сочинил теорию о привилегированном классе. Наподобие джиласовской. Так что я привнес в семью Зорких чужеродную струю, а когда высказал свои сомнения по поводу дела врачей, от меня стали шарахаться. Когда после смерти вождя дело врачей было закрыто и разоблачено, Вера Яковлевна прониклась ко мне уважением, приглашала в кабинет и спрашивала мое мнение по разным вопросам.

В свете всего вышеизложенного, Вы можете понять, что никакого горя по поводу кончины тирана я не испытывал. Но чувствовал торжественность и революционность момента. Это ощущение особенно усилилось после того, как в институте мы настояли на организованном походе на похороны (партийное руководство по началу отговаривало, но в конце концов возглавило шествие), и мы на метро доехали до площади трех вокзалов. Она была запружена народом, и в громкоговорители объявляли о составе нового правительства и другие указы. Сознавалось полное впечатление революционного события.

Наша вылазка оказалась abortивной. Двигаясь по Бульварному кольцу, мы достигли Трубной, где состоялась главная давка, и нас развернули к Садовому.

Что касается «стиляг», то эта компания не была однородной. В основном, они были поклонники западной бытовой культуры и музыки и в этом плане антисоветчиками; занимались фарцовкой шмотками и музыкальными записями на рентгеновской пленке; и меня вовлекали в эти дела. Но был там и интеллектуальный слой. Моим наиболее близким товарищем стал некто Феликс Фикс, впоследствии сменивший фамилию на Андреев и ставший журналистом (работал в «Советской культуре»). Он был антисоветчик и антисталинист. Меня он познакомил с творчеством Олеси. Но в 1968 он опубликовал конъюнктурные статьи с осуждением «Пражской весны». После этого, я, столкнувшись с ним в Дом журналистов, не пожал протянутую мне руку. Отношения был порваны.

— Я понимаю, Леонид, что Вы многое видели, со многими людьми встречались, наверное, были резкие изменения в траектории жизни и т.д. Но уже более десяти лет я пытаюсь обо всем спрашивать наших коллег, ибо считаю, что наука делается многими и должна писаться многими. Уже сейчас в моей онлайн-книге «Биографические интервью с коллегами-социологами» http://www.socioprognoz.ru/index.php?page_id=207 свыше 130 интервью с социологами разных поколений, есть рассказы о многих сторонах жизни советского общества, вырисовываются многие особенности контекста, в котором мы жили и работали. Но если мы сами все это не вспомним, не опишем, то все пропадет...

К чему Вас готовил Иняз? В какой области научной или собственно переводческой деятельности Вы специализировались?

— В Инязе нас готовили к переводческой работе самого разнообразного характера, и первым моим опытом стала поездка в качестве переводчика делегации по оказанию технической помощи на Цейлон и в Индонезию (1959-60 гг.). А к научной работе я приобщался самостоятельно, еще в школе, когда вдруг увлекся марксистской политэкономией и стал читать «Капитал», а затем, когда после окончания Инязе поступил на работу, а затем в аспирантуру ин-та Востоковедения АН СССР.

— Мне кажется, что Борис Грушин и Юрий Левада тоже еще в школе начали читать «Капитал» и работы Ленина. Но с ними я не проводил интервью: Грушин умер до того, как я начал мой проект, с Левадой не успел.

Что заставляло «юные умы» обращаться к столь сложным материям? Среди Ваших знакомых были люди, которые могли ответить на возникавшие у Вас вопросы? А что, в Инязе Вы не пробовали обсуждать интересовавшие Вас политэкономические и обществоведческие темы с преподавателями?

— Мое знакомство и увлечение марксизмом состоялось, как и многие другие события моей жизни, благодаря случайности. Одним из ближайших друзей моего детства был живший в соседнем дворе в подвале дома старых большевиков Вова Албрехт, сын расстрелянного польского коммуниста, в будущем известный диссидент и политик. Так вот, он увлекался оперой и чтением. Семья жила бедно, книги не покупались, и он повадился наведываться в пункты сдачи утильсырья и подбирать там выбрасываемую макулатуру. И вот как-то он приносит и отдает мне вузовский учебник политэкономии (авторы Липидус и Островитянов). Я стал с ним знакомиться, и мне показались очень интересными и убедительными объяснения устройства общества и хода истории. Я начал конспектировать учебник, а потом и читать первоисточники. В моем окружении не было взрослых, которые разделяли бы мой интерес. Позже, в институте, конечно же, преподавался весь полагающийся тогда цикл марксистских знаний — политэкономии капитализма и социализма и т.п., но лекции и семинары были сухими и формальными, и мне совершенно не запомнились. А запомнился только один лектор, старый коммунист Жолдак, который еще до смерти Сталина не боялся сказать нам, студентам, что из партии ушел дух дискуссии, а в коммунистах поселился страх и недоверие друг к другу.

Единственно, с кем я мог делиться своими соображениями был все тот же Петя Зоркий. Он высоко чтит Маркса, знал его биографию, читал работы. Ему я рассказал и свою теорию нового класса. Он со мной спорил, но я его убедил.

— В чем была суть Вашего подхода к классовой структуре общества? Именно с ее развитием и было связано Ваше поступление в аспирантуру? Если это не так, то какова была тема Вашего кандидатского исследования?

— Для меня бродить по запутанным тропам моего научного прошлого и бродить в туманной истории юности задача не из легких, тем более, что я никогда не заводил архива, не трясся над рукописями и утратил много из сделанного. Безалаберная жизнь.

Надеюсь все же, что мне удастся удовлетворить вашу любознательность и с вашей помощью воссоздать полузабытые страницы прожитого.

Работать в Ин-т Востоковедения меня пригласила уже упоминавшаяся Вера Яковлевна Васильева. Дело в том, что, когда я еще был студентом, она работала над вторым изданием своей книги о Французском Индокитае. Моим вторым языком в Инязе был французский, и она предложила мне за некоторое вознаграждение помогать ей со сбором в библиотеках материалов для обновления книги. Я успешно справлялся с задачей, и она сочла меня пригодным для работы в институте, где она заведовала отделом Юго-Восточной Азии. Так я стал научно-техническим сотрудником и секретарем сектора Камбоджи и Лаоса в ее отделе.

На первых порах мне поручалось писать справки по конъюнктурным вопросам для «компетентных органов». Как я шутил в ту пору, объясняя своим школьным друзьям: пишу справку в МИД «Куда течет Меконг». Но одновременно я стал писать обзоры и статьи об экономике этих стран, и они стали моими первыми научными публикациями в институтских сборниках. Там они были замечены, а одна, о лаосской экономике, даже оказалась переведенной в Ханое на вьетнамский и издана отдельной брошюрой.

Короче, я заслужил репутацию способного исследователя, и мне было предложено поступать в аспирантуру. Но, выбирая тему для кандидатской, я понял, что дальше заниматься конь-

юнктурными проблемами и текущей экономикой мне не интересно, и вообще, если Камбоджа и представляет интерес, то главным образом благодаря своим грандиозным архитектурным памятникам — Ангкору. Так у меня возникло желание посвятить аспирантское время изучению Ангкора, но не в искусствоведческом или религиоведческом плане, а под углом зрения раскрытия особенностей той эпохи и того общества, в которые родились эти шедевры. Так человек, столкнувшись с гениальным творчеством Пушкина, может захотеть узнать эпоху и общество, в которых он жил и творил.

Получилось так, что я предложил тему для диссертации «Государственный и социально-экономический строй средневековой Камбоджи». Надо сказать, что добиться утверждения этой темы мне стоило большого труда. В коллективе, где работали в основном выпускники истфака МГУ, меня посчитали каким-то самозванцем, и самый большой авторитет по истории региона академик Губер отклонил мою просьбу о научном руководстве. А заведующий аспирантурой Баранов отговаривал: «Что это ты, молодой человек, закапываешься в древность?». Согласилась стать моим руководителем молодая доктор наук, индолог Клара Ашрафян. Несмотря на определенные научные расхождения с ней (по поводу «азиатского способа производства»), о чем позже, она совершенно не вмешивалась в мою работу, дала мне полную свободу. Результатом явилась успешно защищенная в 1964 году кандидатская, и изданная на ее основе монография «Ангкорская империя».

— Из сказанного Вами следует, что исследование Ваше было вполне социологическое: государственный и экономический строй, азиатский способ производства — вполне социологические понятия. Что Вам удалось показать в кандидатской работе? С кем из философов, экономистов Вы обсуждали свою концепцию? Каким образом Вам удалось собрать необходимый для исследования материал?

— Должен вам объяснить, что вся история ангорской Камбоджи реконструируется на основе эпиграфики (надписей на камнях на санскрите и старом кхмерском), на китайских хрониках и записках китайских путешественников, на археологических изысканиях. Весь этот обширный материал собран Французской школой Дальнего Востока, переведен и обобщен. На мою долю выпало освоить этот материал и подвергнуть своим интерпретациям. Чтобы самостоятельно контролировать переводы, я стал учить санскрит и кхмерский — титанический труд.

Занятия реконструкцией общественного строя Ангкора привели меня к убеждению о непригодности анализа в терминах и понятиях теории формаций, рожденной на базе европейской истории. Более пригодным представился мне встречающийся у Маркса, но не вполне разработанный им концепт азиатского способа производства (АСП) как общества, в котором государство осуществляет грандиозные работы по ирригации и в результате доминирующими становятся государственная и храмовая собственность — своего рода первобытный социализм. На этот концепт я натолкнулся, когда занимался политэкономией в школе и узнал о состоявшейся в среде историков-марксистов дискуссии об АСП. Участники предлагали дополнить этой формацией пятичленную схему, но дискуссия была свернута, и директивным образом утверждены упоминающиеся в трудах Сталина пять формаций и их смена.

В ряде выступлений и статей я фактически вернулся к обсуждению АСП и был поддержан молодыми востоковедами: китаистом Васильевым, египтологом Стучевским и др. С другой стороны, индологи Алаев, Ашрафян предпочли пользоваться категориями феодальной формации. В ходе дискуссии я пришел к выводу, что АСП даже не формация, а отдельная ветвь или путь развития, внутри которого следует определить свои формации. Запад и АСП нечто вроде позвоночных и беспозвоночных.

Дальнейшие поиски альтернативных теорий общественно-го устройства привели меня к знакомству со структурным функционализмом Т. Парсонса, культурологическими и социо-антропологическими теориями и Юрием Левадой.

— В каком году Вы познакомились с Ю.А. Левадой? Где он тогда работал? Как он отнесся к Вашим построениям? Он ведь сам был немного китаистом.

— Мое заочное знакомство с Левадой состоялось в 1963 г. Вместе со мной в аспирантуре готовила диссертацию об индийском философе Нагарджуне выпускница философского факультета МГУ Ильяфа Кутасова. Я с ней дружил. И в один прекрасный день, зная о моих теоретических поисках, она сообщила мне о том, что можно пойти на интересную лекцию о социальных структурах, которую прочтет ее однокурсник Левада. Так я попал на доклад Левады и был весьма впечатлен и самим молодым, обаятельным ученым, рисовавшим на доске любопытные схемы, и излагавшимися им идеями о высшей регулирующей роли культуры. Меня привлек смелый отход от марксистского экономического детерминизма.

Другим связующим звеном с Левадой стал его соученик и друг и мой коллега по институту и сосед по подъезду в кооперативной пятиэтажке на Малой Филевской, буддолог и философ Александр Пятигорский, ставший моим близким другом. В начале 1964 года мы отмечали его 34-летие в нашей квартире, и среди приглашенных был его приятель Айвазян, который с увлечением рассказывал о своей работе под началом Левады в недавно образованном в Институте философии отделе теории и методологии социальных исследований (мне помнится, как мы с еще одним гостем, художником Жutowским написали и нарисовали шарж: «Ай айва, ой айва, как чудесна голова Айвазянова»). Под влиянием всех этих событий и впечатлений у меня постепенно созревало желание познакомиться с Левадой и включиться в его деятельность. Возможно, решающую роль в решении покинуть ин-т Востоковедения сыграли драматические личные обстоятельства. Осенью 1964 произошел разрыв с моей первой женой Еленой Семекой, с которой вместе работали в институте и защитили диссертации в один и тот же день на том же ученом совете (ее темой была история буддизма на Цейлоне). После разрыва мне стало психологически сложно оставаться в институте.

— Александр Пятигорский — фигура, мимо которой невозможно пройти. Пожалуйста, расскажите о нем, в частности, что Вас с ним сблизило? Увлечение востоком? Интерес к семиотике? Правозащитная деятельность?

— Саша Пятигорский был человеком широчайших интересов и человеческих связей. Ко мне он проявил любопытство с первого дня моего появления в ин-те — подошел, смотря в разные стороны своими косыми глазами, поинтересовался, что я такое и чем буду заниматься. Потом у нас была общая дружба и компания с моей преподавательницей санскрита Октябрьской Волковой. Еще потом мы стали соседями по подъезду (мы на третьем, он на пятом), и наше общение носило повседневный и многосторонний характер. А правозащитником он не был, и гонениям подвергся за связи с буддистами и, кажется, подписанием.

— Итак, у вас возникло желание включиться в деятельность Ю.А. Левады? Включились? В чем это выразилось?

— Через посредничество Пятигорского я познакомился с Юрием Александровичем (потом мы стали на ты: Юра и Леня), Леваде понравились мои соображения о АСП и мое знакомство с западными теориями. В то время освоение западных концепций было главным направлением работы его отдела и семинара, который собирался в подвале на Писцовой улице. Он пригласил меня на семинар, и я сделал доклад о социальной антропологии.

В это время в отделе образовалась вакансия — ушел Здра-

вомыслов, и Левада предложил мне пойти на его место. Я успешно провел беседу с директором Института философии АН СССР академиком Константиновым и был взят на работу в отдел. Это был 1965 год.

— Чем Вы стали заниматься уже в ранге сотрудника отдела Левады? Насколько я помню, вскоре сектор Левады вошел в Институт комплексных социальных исследований АН СССР. Так это было? Вы тоже перешли в этот новый институт?

— Отдел Левады вошел в состав Института конкретных социальных исследований, и я остался в числе сотрудников. В институте мы продолжили освоение западного теоретического багажа, взяли на вооружение структурный функционализм Талкота Парсонса.

Переводы публиковались в институтских сборниках; я сразу столкнулся с ужасающим буквалистским качеством переводов и занялся их редактированием и своими переводами. Вскоре опубликовал в «Вопросах философии» свою первую социологическую работу — обширную рецензию на книгу Амитаи Энциони «Активное общество».

— Давно это было и все же, чем Вам показался Энциони интересен? Вы и дальше следили за его работами? Посмотрел в Интернете, он жив и в 2014 году опубликовал новую книгу.

— Честно говоря, я плохо помню, как натолкнулся на книгу Энциони, но мне захотелось познакомить с его идеями советскую публику, плохо осведомленную об устройстве демократических систем.

Мне же сотрудничество с журналом позволило познакомиться и подружиться с замечательными людьми: Юрой Сенокосовым и Мерабом Мамардашвили, сыгравшими важную роль в моей дальнейшей жизни. За творчеством Энциони далее не следил, но рад Вашему сообщению, что он жив и работает.

— Пожалуйста, раскройте смысл слов о значимости Вашей жизни знакомства и дружбы с Ю. Сенокосовым и М. Мамардашвили.

— С Мерабом это была роскошь общения с умным человеком. Кроме того я тогда писал и публиковал работы за рубежом (в журнале Синяевского «Синтаксис», в журнале «Посев», в английском «Survey» под псевдонимами Леон Ржевский, Л. Ладов, N. Sedov; показывал эти работы Мерабу и получал его комментарии и одобрение. С Сенокосовыми Юрой и Леной Немировской поддерживал тесный контакт; они часто звонили мне, интересуясь результатами опросов и моими интерпретациями. А после моего увольнения, когда я остался без заработка, Юра трижды устраивал заказы на перевод книг.

— О чем Вы писали в названные выше журналы? Как в целом можно обозначить направление тех Ваших статей?

— В «Синтаксисе» и в Англии я опубликовал, как мне представляется, мои самые важные концептуальные культурологические работы об особенностях русского менталитета, об особом русском цивилизационном типе в ряду других цивилизаций. А в № 2 была полемика по поводу России с писателем Леонидом Бородиным. В «Посеве» публиковались соображения по текущим политическим проблемам.

— Какие же это были годы? В силу каких обстоятельств Вы отошли от Камбоджийского средневековья, концепций Энциони и занялись русским менталитетом? В чем заключалась специфика Вашего подхода, Вашего видения этого феномена?

— Отход от экзотических проблем и переход к отечественным представляется мне естественной эволюцией. Что касается концепций, то в статье «Коммунизм — это молодость мира» я попытался обосновать мысль о том, что русской культуре присущ подростковый характер, что личность здесь не вызревает до взрослого состояния. В статье «Типология культур по критерию отношения к смерти» я предпринял попытку форма-

лизовать этот аспект культурных ориентаций, и, согласно предложенной формуле, русская культура отличается предпочтением здешнего, земного дальнему, потустороннему.

— То есть что, Леонид, русская культура, пронизанная православием, одновременно сильна духом протестантизма? Поясните, пожалуйста?

— Прежде, чем погружаться в полемические дебри по поводу отдельных брошенных мною и Вами замечаний, хотелось бы, чтобы Вы ознакомились со всей совокупностью моих взглядов. Для этого Вам, наверное, не составит труда найти журналы «Синтаксис» №17 (1987) и №26 (1980), а также журнал «Общественные науки и современность» №3 за 2003 год с моей статьей «Социология для России». Пока же скажу только, что ментальность и культурная матрица — это сложный компот из множества ингредиентов, представлений и настроений, находящихся подчас в противоречивых соотношениях друг с другом. Что же касается Вашего замечания об устремленности в будущее и всемирное, то первое вполне укладывается в представление о «земном», гедонистическом характере российской культуры. Поскольку будущее рисуется в виде изобилия материальных благ (коммунизма). Точно также в мусульманской культуре предпочтению земного потустороннему выражается в виде переноса туда всех земных наслаждений (девственниц-гурий и т.п.). Всемирность же в русской культуре есть проявление подросткового комплекса превосходства — «моя группа самая сильная, самая лучшая, самая правильная». Должен сказать, что эти мои работы никогда не были предметом обсуждения в профессиональной среде. От простых же читателей получал положительные и даже восторженные отзывы.

— Я думаю, Леонид, мы поговорим и на эти темы, но мы как-то резко перескочили из 1965 года и начала Вашей работы в ИКСИ в конце 90-х и в настоящее. Нельзя ли вернуться в прошлое? Скажем, меня интересует период прихода в институт М.Н. Руткевича и то, что часто называют «Делом Левады». Вы тогда работали в секторе Ю.А.? О тех событиях много написано, но как они Вам запомнились? Ведь это — один из ключевых моментов истории нашего профессионального сообщества...

— Прежде чем рассказать о Руткевиче, прозванном Бульдозером, и о его роли в судьбе социологического сообщества и моей лично судьбе, сообщу о том, что моя работа в Ин-те философии с первых дней и в ИКСИ протекала под знаком преследований за «подписанство». Я был среди тех, кто подписали письмо протеста и защиты Алика Гинзбурга. Под письмом стояла подпись кандидата наук Седова без инициалов. Меня вызвал директор Копнин и спросил: «Случайно не Ваша подпись под коллективным письмом?» «Случайно моя» — ответил я. «Меня и Леваду вызвали на «треугольник».

Вместе с «треугольником» проработку мне учинял какой-то человек из компетентных органов. Мне вменялось, что письмо попало на враждебные радиостанции и предлагалось дезавуировать подпись.

О деле Левады, затеянном после опубликования «Лекций о социологии», прочитанных им на факультете журналистики МГУ, написано и известно очень многое. Мы, весь «левадовский кружок», конечно, присутствовали на экзекуции и страшно переживали. Все же я помню детали довольно смутно. Помнится, как в защиту Ю.А. выступил Грушин. А потом мы отметили печальное событие веселой дружеской пирушкой. Я сочинил стихок: «Сказало раз исчадие ада / Такой Левада нам не надо; / Но ведь написано в Коране: / Не въезжать в рай на Глезермане» (философ Глезерман был самым активным «разоблачителем Левады»).

— Возможно, вопрос — странный, но задам его. Исследование российского менталитета в 1980-х проводилось по собственной инициативе или это было в плане Ваших институтских проектов. Ясно, меня интересует не вопрос «отчета о проделанной работе», а, действи-

тельно, было ли возможно в рамках академических структур разрабатывать эту проблематику?

— Эти культурологические штудии были исключительно моим личным проектом, но стимулировались они методологическими обсуждениями в отделе и знакомством с зарубежной литературой.

— Какова была точка зрения Левады относительно Ваших построений? Интересовала ли его эта тематика? Приходилось ли Вам обсуждать Ваши построения с Михаилом Гефтером?

— Честно говоря, я не припомню, чтобы мне приходилось обсуждать мои работы с Левадой или Гефтером.

— «Дело Левады» завершилось изгнанием Юрия Александровича из института, и он долго работал в ЦЭМИ. Где Вы работали в те годы, в какой области вели исследования?

— Вслед за изгнанием Левады последовал массовый исход из института. Я был поставлен на переезд, и ученый совет меня не утвердил. Попытка перейти вслед за Левадой в ЦЭМИ также не удалась. Приказ о моем зачислении был уже в машинке, когда последовал звонок из «инстанций», и зачисление не состоялось. После этого мы с Левинсоном были взяты в качестве социологов в ЦНИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений, где проводили эмпирические исследования по условиям видимости в спортивных залах и размещению кинотеатров в городе (в Баку). Коллектив архитекторов оказался интеллигентнейшим, широко и смело мыслящим, по человечески приятным, а директор Юрий Гнедовский и заведующий отделом стали моими друзьями.

— Вы оставались членом семинара Левады или на какое-то время пришлось отойти?

— Семинар собирался, как в различных общественных помещениях, так и на дому, и я в нем участвовал.

— Леонид, но это очень общее (уже сказанное многими), Вы могли бы что-либо именно свое сказать... зачем, собственно Вы участвовали в них? что притягивало? что они Вам давали?

— Участие было продолжением сложившегося общения с друзьями и единомышленниками и возможностью знакомства

с новыми людьми «со стороны». Обсуждались актуальные текущие дела, включая политические; делались интересные научные доклады (помню Левинсона).

— Леонид, мы с Вами познакомились в конце 1980-х, когда старый ВЦИОМ начинал свою работу на Юго-Западе. Что Вас сподвигнуло туда идти? Были ли у Вас собственные научные планы?

— Во ВЦИОМ я пришел по зову Левады, с которым продолжал тесно общаться все это время. Я тогда работал старшим научным редактором в издательстве «Советская Энциклопедия», получал там хорошую зарплату с надбавкой за степень. Но работа была нетворческой — я называл ее «сладкая каторга». Перешел во ВЦИОМ в расчете на большие творческие возможности.

— До перехода во ВЦИОМ Вы были знакомы с методологией, методами изучения общественного мнения? Знали ли Бориса Андреевича Грушина, его работы?

— Когда поступил во ВЦИОМ был совершенно незнаком с проблемами работы в области public opinion. С Грушиным тогда еще не был знаком лично и о его работах знал скорее понаслышке. Должен честно признаться, что первый мой опыт оказался провальным. Левада поручил мне провести исследование на тему «бюрократия». Под моим руководством была разработана анкета, ВЦИОМ провел опрос, и полученные результаты по моему заказу были переведены на английский, и было решено провести конференцию с участием иностранных специалистов в этой области. Но тут я обнаружил весьма плохие организационные способности. Конференцию мы провели, данные распространили, но, видимо, я пригласил не совсем тех ученых и не организовал дальнейшую работу, так что в результате не состоялись никакие публикации по результатам исследования. Вспоминаю обо всем этом как о кошмаре.

— Вскоре Центр переехал на Никольскую, исследовательский и организационный опыт коллектива возрастал, в чем заключалась Ваша работа?

(На этом месте интервью прервалось в связи с тяжелой болезнью Л.А. Седова)